

СЕРГЕЙ КОСТЫРКО

НА ПУТИ В ИТАКУ

ПИСЬМА
РУССКО
ГОПУТЕ
ШЕСТВЕ
ННИКА

005



Новое
Литературное
Обозрение

Письма русского путешественника

Сергей Костырко
На пути в Итаку

«НЛО»

2009

Костырко С. П.

На пути в Итаку / С. П. Костырко — «НЛО»,
2009 — (Письма русского путешественника)

Путешествия по Тунису, Польше, Испании, Египту и ряду других стран – об этом путевая проза известного критика и прозаика Сергея Костырко, имеющего «долгий опыт» невыездной советской жизни. Каир, Барселона, Краков, Иерусалим, Танжер, Карфаген – эти слова обозначали для него, как и для многих сограждан, только некие историко-культурные понятия. Потому столь эмоционально острым оказался для автора сам процесс обретения этими словами географической – физической и метафизической – реальности. А также – возможность на личном опыте убедиться в том, что путешествия не только расширяют горизонты мира, но и углубляют взгляд на собственную культуру.

© Костырко С. П., 2009

© НЛО, 2009

Содержание

I. Путешествия	6
Самоидентификация	6
Канареечный Дали	17
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Сергей Костырко

На пути в Итаку

© Костырко С., 2009

© Художественное оформление. «Новое литературное обозрение», 2009

* * *

*Когда задумаешь отправиться к Итаке,
Молись, чтоб долгим оказался путь...*

Кавафис

I. Путешествия

Самоидентификация

(Из «Турецкой тетради»)

(17.10.2000, ночью на балконе)

Ну и какого хрена тебе еще надо?!

Вот он ты – босой, в майке и шортах, ночью, со своей тетрадкой, отвязанный от всего, отпущенный к себе, на волю, – сидишь на балкончике турецкого отеля.

Балкон подвешен на четвертом этаже отеля. Над тобой черное пористое небо с редкими крупными звездами. Внизу – косматый ухоженный сад с лампочками, упрятыми в траву, и яркая бирюза бассейна.

Стрекочут кузнечики. Музыка из открытого бара несет неутолимое томление молодости – ей без разницы, старый ты или молодой.

Под фонарями на дорожках плечи и протяжные девичьи руки, черные нитки вечерних платьев перекрещивают открытые спины, высокий каблук укорачивает шаг.

Сколько можно?! Расслабься. Это – реальность. У тебя нет поводов сомневаться, что это реальность.

Вот все это: солнечный туман над заливом, жар песка под стопой. Пальмы и кипарисы. Мачты и паруса. Плетенные из лозы пляжные зонтики. Обнаженное купальником бедро прелестной юной англичанки с льняными волосами и проволочным оскалом улыбки (девочке выправляют зубы).

Перестань шуриться. Перестань ежиться и отсортировывать то, что ты называешь мусором:

гибкая, с ослепительной улыбкой танцовщица в перерыве, укрывшись от ресторанной публики в тень и промокая салфеткой влажные бедра и грудь, вдруг отпускает лицо: брюзгливо кривятся губы, лоб прорезают морщины, тупеет, гаснет затянутый внутрь взгляд, – наклонив голову, она прижимает к уху мобильник, переданный ей администратором; но уже выхлестывает из усилителей пронзительный голос зурны, и – вскинув руки, бедром, исходящим дрожью, вперед – всплывает танцовщица в середину нарисованного прожектором круга перед твоим столиком, и на лице ее все та же счастливая улыбка, то же продавливающее тебя радостное свечение во взгляде, – а ты воровато прячешь в дальнюю директорию фото с расслабленно-сломленной линией позвоночника, гримасой усталости на немом, на слепом лице; вот ее-то, эту девушку, ты точно не увидишь на дискотеке, куда вы покатите всей компанией из «Караван-сарая» продолжать «турецкую ночь», но уже со своими танцами, свистом и криком, с ночным купанием после...

Или:

шипящий перекошенный рот турка и гневное посверкивание глаз, адресованное молодой жене, копающейся в салоне машины (это гости на свадьбу, накрытые столы которой заняли чуть ли не половину сада в нашем отеле, – они не видят меня, сидящего на скамье в темноте под пальмой), женщина выходит из машины, поворачивает к мужу искаженное улыбкой лицо, я вижу безжалостный прищур глаз, она произносит что-то короткое, под дых, и захлебнувшийся изнутри криком мужчина застывает – и они уже идут, идут под огнями крыльца-подиума к распорядителям праздника, их встречают высокая холеная гречанка с

открытыми плечами и руками и осанистый черно-атласный седой турок с малиновой бабочкой; далее – ритуально-счастливая взволнованность поцелуев и проход супругов сквозь холл в расцвеченный фонарями сад; я смотрю в их согласно выпрямленные спины (с достоинством и безмятежной доверчивостью лежит сейчас ее рука на сгибе локтя мужа) и перематываю для хранения кадры с застарелой уже злобой на молодом лице женщины, с беспомощной яростью мужчины; с непоправимой мукой их сожития...

Что за извращенная избирательность зрения? Ведь можно и не видеть? Можно провести сейчас взгляд налево, к полупрозрачному кубу соседнего отеля, светящему закачаным туда светом луны. Успокоить глаз и память черной гладью залива с рассыпавшейся по ней серебристой рекой. Полнолуние. Октябрь. Турция.

Что нужно тебе еще, чтобы избыть ознобчивый холодок в животе? И нужно ли его избыть?

Что держит тебя на балконе в наступившей уже ночи, когда ближние твои, с кем делишь кров и ночную тишину, на показ друг другу свезенные сюда немцы, англичане, литовцы, саратовцы, минчане, калужане и сургутчане, давно спят, продолжая и там, во сне, держаться за борта лодок, на которых везут их по реке с темной прозрачной водой над синими каменными ямами?

Расслабься.

Ведь хорошо же, хорошо? А? Хорошо?

Еще бы! Еще бы. Но только уже не от этих открыточных приморских красот.

Что-то кончилось...

Мне нравятся русские, сказал Осман, тридцатилетний турок-балагур из турагентства, – мы пили с ним чай в тени на нижней палубе прогулочного бота и смотрели за борт, где плескались мои соотечественники, неотличимые от турок, немцев, израильтян и норвежцев, – мне нравятся русские, сказал вдруг Осман, мне приятно с ними работать, но извини, пожалуйста, за такой вопрос: скажи, почему русские всегда говорят, что лучший отель для них – это отель без русских.

Почему об этом он спросил именно меня и именно сейчас?

На что это похоже, когда вдруг перестаешь стыдиться себя? Своей неудачи? Своего, как тебе кажется, тотального облома?

Кажись, и на тебя сошла эта благодать. Лучше поздно...

Немцам, англичанам и прочим проще (буду осторожен – возможно, возможно, проще) – они приезжают сюда за солнцем, теплым морем, пивом, пейзажем. И немного – за восточной экзотикой.

Так ездили мы в Крым и на Пицунду.

Сюда мы ломанулись за другим.

Нас (меня и многих из моего поколения) гонит неведомая немцам и англичанам потребность выстроить себя вовне. Выстроить по другим лекалам, по другому, в кинозалах семидесятых-восемидесятых годов вымечтанному образу жизни, образу чувствования. Не менее остро, чем пирамиды или Лувр (а может, и острее), переживается нами сам облик современного европейского города или городка, сам воздух его, бесконечное количество подробностей его быта, из которых легко и радостно, как бы вспоминая что-то, выстраиваем мы образ «европейской жизни» – традиционно стабильной, трудолюбивой без надсады, здоровой, красивой и просторной. Образ, с которым мы носимся уже не одно столетие и все никак не можем решиться на его осуществление. Не хватает сил? Смелости? Или зрелости не хватает? Чем-то похоже на неспособность влюбленного решиться на брак: каким бы замечательно счастливым и полным он (брак) ни казался, а вот так, сразу?! Вот так насовсем отказаться от всех прочих возможностей? Мороз по коже! И получается, что лучше вообще ничего, чем что-то определенное. Мы боимся определенности, она – нет. Мы боимся взрослеть, они

– нет. Мы все тетешкаемся со своим великим будущим, до дыр износили в мечтах, а все еще планируем, все еще собираемся жить. Уже изнемогли в сборах, с ужасом чувствуя, что сама возможность его воплощения, кажется, давно минула – надорвались, обустроивая свою будущую жизнь. А эти нет, эти вывернулись (или жизнь их заставила). Они целиком живут в настоящем, а значит, жили и в прошлом и, значит, будут – в будущем.

И потому поездка за границу – это для нас что-то вроде процесса инициации. Почти непосильного. Стыдного. Ощущаешь себя уродливым, косматым, заторможенным. Непроветренным. С трудом раздвигающим неумелые губы для утренней улыбки у лифта.

Разумеется, мы не верили официальной легенде о внутреннем холоде и тотальной отчужденности людей Запада. Почти не верили. Ну как же! Не виснут друг на друге со своими соплями и несчастьями, не выставляют на каждом шагу свою «духовность», не треплются бесконечно по пьянке про бога и про роль интеллигенции. Сегодня же от образа патологически оформленных, тесных и душных людей-функций нас занесло к прямо противоположному: к образу людей, преодолевших или вообще не ведавших истерии эсхатологического переживания отведенного тебе времени и, следовательно, лишенных вот этого глубинного недоверия миру божьему в его разумности, прочности, вечности – того глубинного неверия в божью благодать данной нам жизни, которую я слышу в интонациях даже самых истовых, самых православных у себя дома.

И нам казалось (да так оно и было – по крайней мере в первые разы), что мы, в сущности, едем сюда спастись от безверия, от собственной инфантильности. Иждивенцами едем.

Но, даже засомневавшись во всем этом, мы все еще продолжаем тщательно щуриться, чтоб не видеть здешней «грязи и сора». Смотрим и не видим панической суетливости, с которой победительный красавец-бармен прыскает противоастматический аэрозоль, закрывшись на пару секунд дверцей холодильника от праздника вокруг; смотрим и не видим гримасы усталости и отвращения на лице танцовщицы.

А чего ты, собственно, пугаешься? А? Чем ты пугаешься? Давай, колись, не бойся, признайся, что – привычкой к расслабленности, отсутствием мужества жить. Скажи честно, что пугает сама необходимость постоянного усилия, необходимого им, чтоб держать форму. Ты, кажется, надеялся обнаружить мир с молочными реками и кисельными берегами. Хрен тебе! Смотри, чего все это стоит. Перестань выстраивать в рамочке видеоискателя заготовленные еще в Москве картинки.

Перестань прятаться. Ты один из них.

Сейчас ты – вот эти две девочки, ведомые спокойной и уверенной бабушкой в платочке через холл отеля на свадьбу богатого родственника. Девочкам лет по тринадцать-четырнадцать. Они надели для светского праздника короткие кожаные юбочки и, забывшись, непроизвольно натягивают их на ноги, пониже. Они сделали себе косички-висюльки с разноцветными камешками, которые надо нести на гордо поднятых головках, но у них не получается – голову тянет вниз, взгляд не прямой, уверенный, а исподлобья, испуганно и замороженно косятся они на декоративную трехзвездочную роскошь вокруг, на «европейцев» с сигаретками и пивом на диванах. Смотри на них, смотри – это ты идешь.

Или попробуй отделить себя от того горбуна, за которым ты гулял вчера по набережной. По набережной, вдоль черного моря с узкой полоской пляжа по одну сторону прогулочной дорожки и многокилометровой череды ресторанных столиков – по другую.

...Я теку вместе с толпой, проваливаясь взглядом в очередной ресторанный отсек или в садик отеля с сиреневой под прожекторами пеной белых роз, с теплыми кружками на скатертах от зажженных свечей.

Я иду обычным шагом, а он, впереди меня, он почти выкладывается, низкорослый горбун-турок. Моя прогулочная скорость – деловитая целеустремленная пробежка для него. Горбун меня не видит, здесьлюдно. Смотрю на него я. Горба почти незаметно, да и нет прак-

тически горба, можно подумать, что это просто такая очень сильная сутулость при непомерно широких плечах и малом росте. Голова высоко поднята. В походке его и намек нет на комплексы – стремительный, энергичный проход мужчины сквозь толпу на вечерней набережной. Как бы по своим, не имеющим прямого отношения к этому курортному шествию делам. Его здесь знают, время от времени горбун тормозит на пару секунд, чтобы расцеловаться с выскочившим приятелем официантом, со вставшим из-за столика молодым турком, или просто поднимает руку в ответном приветствии, и в жесте этом: привет, старик, привет, извини, извини, дорогой, спешу.

...Багровый полумрак очередного ресторана с огромным зеленым экраном телевизора: по горной дороге летит плоская низкая машина, желтой пеленой стелются над травой волосы девушки, высунувшейся из окна (мы в машине), и под волосами далеко внизу вспыхивает голубое море, наплыв – паруса яхт, ребристая поверхность воды;

а в следующем ресторане стены затянуты рыбацкими сетями, тесная компания пожилых немцев с пивными бутылками;

и следующий отсек ресторана, и следующий – глянуть и дальше, вздох еще одной шлягерной мелодии из следующего ресторана, и еще, и еще... Музыка эта, томившая когда-то предощущением праздника, изводит сейчас сладкой ностальгией по прошедшему, по бывшему. А еще больше – по небывшему. И одновременно я смакую предстоящее возвращение в свой номер с открытым на столике ноутбуком, на экранчике которого можно будет что-то такое возрыдать сладко о радости прошедшей, о молодости, подразнившей и обманувшей (а как иначе!). Вот уж эта перспектива со строкой, бегущей из-под пальцев на экран, – не обманет. Как не обманет знание, что инфантильная взболтанность чувств сама по себе растворится в ночной тишине пустых улочек, по которым мне возвращаться в отель... Но и что-то такое напишется, это уж точно – другое, а пока даже приятно изводить себя вот этой отроческой трепетностью чувств, только бы не ухнуть в отроческую обиду на одиночество и наступающую старость, – но, похоже, специально для этого и пустили впереди тебя горбуна с его несокрушимо поднятой головой.

Мы уже очень давно идем вот так вместе, и впереди обозначается темный провал – дорожка уходит под небольшую рощицу платанов, с какими-то пышными кустами внизу, здесь практически темно, а там дальше за темнотой возобновляются свет и уханье очередной дискотеки. Горбун мой начинает как бы запинаться, он как будто просыпается от горячего морока набережной – плечи вдруг обвисают, в походке обнаруживается ломкость, голова уходит вперед, на грудь, горб его вспухает на глазах. Он делает еще несколько растерянных почти шагов уже не по дорожке, а по полянке справа от дорожки, останавливается и растворяется в черной тени под кустом. Я же состую с каменных плит дорожки влево, в вязкий песок пляжика, я прохожу к стволам двух эвкалиптов, возле которых на лежаках расположилась компания англичан, пускающих по кругу бутылку. Привалившись к стволу эвкалипта, я разминаю сигарету, прикуриваю и, как бы зацепившись взглядом за огни плывущей по черной воде яхты, поворачиваю голову и краем глаза нахожу бугристую фигурку в темноте, у сетки забора. Там вспыхивает зажигалка, и на секунду мне показывают его лицо, точнее, – надбровные дуги, узкий нос, низкий, с резкими морщинами лоб и блестящие неподвижные глаза. Пыхает и гаснет его зажигалка. Он неподвижен, как коряга. Но глаза мои привыкли к темноте, и я вижу, как медленно раскачивается из стороны в сторону его тело, как будто он поет что-то для себя или подвывает. В правой руке плывет светлячок сигареты, левая опущена. Она висит непомерно длинной. Очень надеюсь, что меня он не видит. И я думаю, что все-таки не видит. Я это чувствую по сосредоточенной отрешенности позы. Он прячется не от меня. Он просто – прячется...

Мы стоим долго. Затекло мое плечо, упертое в ствол... И вот горбун начинает оживать – как будто выпрямляется спина, уже поднята голова, чуть согнулись в локтях руки. Он

делает осторожный шаг, еще один, еще, он уже вышел на середину пустой сейчас дорожки и разворачивается для прохода в обратную сторону. Внимание: старт! Я пропускаю его вперед метров на пять-семь. Мы снова на освещенной набережной, он по-прежнему деловит и целеустремлен – только идем мы в обратном направлении. Я отстал шагов на пять и уже не отвлекаюсь – я регистрирую редкие повороты его головы в сторону ресторанных столиков и повторяю их. Увиденное им достается мне через несколько секунд уже не вполне тем, к тому ж я могу ошибаться в выборе сюжета, но другого варианта у меня сейчас нет:

...голурукая, с узкими плечами, с коротко стриженной головкой девушка, оперши тело на локти, подавшись вперед через столик, ласковым, домашним жестом проводит пальцами по щеке своего белобородого, со светлыми глазами парня, и тихая улыбка его как скрипка-соло в упавшей вокруг них тишине...

...еще девушка – плавный завершающий жест длинной руки, запрокинутой на плечо парня, лицо завешено волосами, они целуются...

...выходящая из ресторанный загородочки высокая женщина замедляет шаг, подставляя спину под ласку белой пушистой кофты, которую бережно опускает на ее плечи спутник, лица женщины я не вижу, только плечи, исчезающие под кофтой, и пышные волосы, которые она плавным качком головы высвобождает из-под ворота кофты, и еще – холодком отдавшееся внутри движение позвоночника и бедра, которым начинает свой шаг рядом с мужчиной ее протяжное и сильное тело...

...и еще две девушки, отключив аккуратные попки, придерживая рукой волосы, склонились над разложенными на столе экскурсионного агентства фотографиями...

Снова дернулась голова горбуна за девушкой с мороженым у губ, и еще раз повело его затылок влево, и еще, и еще...

Я остановился, и хищный, истеричный пробег горбуна мгновенно закрыла плывущая по набережной толпа.

Ну и чьей жизнью ты жил вчера на набережной? Горбуна? Или все-таки своей?..

Никак не оторвать кончика роллера от бумаги.

Снизу – странный звук, как будто полощут в гигантской ванне гигантскую простыню или скатерть. Я выглянул через перила – там внизу, сбросив белые куртки и черные брюки, мускулистые официанты, превратившиеся в пацанов, плюхаются в бассейн. Третий час ночи, они только что драили мраморные покрытия дорожек и площадок в саду, когда ж они спят?

...Ну вот, похоже, самое время, чтобы записать одно воспоминание, от которого, собственно, ты и греешься здесь, прокручиваешь уже который день, и не вопреки окружающей тебя курортной приморской Турции, а как бы найдя ему здесь соответствие. Соответствие в чем?

Это воспоминание о вечере, который случился у меня где-то на Вологодчине лет сто назад и про который я, кажется, вообще ни разу не вспоминал. Лежало где-то, дожидаясь своей очереди. Воспоминание из времен, когда журнал, в котором я тогда работал, вляпался в общую кампанию по подъему Нечерноземья и меня послали в командировку в Вологду, а вологодские на обкомовской машине повезли меня за чем-то в район брать интервью у председателя передового колхоза.

Самого колхоза и председателя не помню. Помню долгое ожидание председателя под просторным навесом крыльца. Шел дождь. Обкомовский «газик» отбыл в Вологду, я сидел на верхней ступеньке у запертой (на обед?) двери правления, смотрел на бессмысленно огромный двор-поляну правления с бледно-зеленой осенней травкой, на аккуратный штакетник и мучился ощущением нежилой вымороченности самого пространства этого двора – голые поля, начинавшиеся за забором, с клоками травы, с низеньким лесочком на горизонте казались более живыми и обжитыми, чем двор с правлением, вынесенный на окраину села.

А уже в следующем воспоминании – брезент, которым меня укрыли до подбородка для обратного пути в райцентр в люльке мотоцикла, и грязь из-под колес, лохматыми ошметками зависавшая за моим правым плечом; мужик, который вез меня, даже не рисковал выехать на раскисшую дорогу меж скошенных полей, он цеплялся колесами за край стерни.

Высадился я на площади райцентра у крыльца ресторана, пожал на прощание руку и, оставшись, наконец, один, как бы вдруг обнаружил себя и вокруг.

Вокруг была площадь, образованная тремя каменными магазинчиками с угрюмыми окошками и амбарными замками на дверях. Чуть в стороне на бугре – двухэтажная, серого кирпича высотка райкома, райисполкома и всего прочего. Плакат «Партии – слава!». Небольшой, облупившийся, вымокший Ленин. Разбитый асфальт.

Площадь (и я) – на самом верху косогора, откуда вниз, к далекой реке, сползали деревянные домики и заборы. Мокрая развороченная земля на просторных улицах была такой, как будто по ним несколько раз прогнали стадо.

Низкорослым и редкозубым поселок казался еще и из-за задника – там, вдали, горизонт был загроможден металлическим скелетом моста непомерной для здешних масштабов величины. Самой реки не помню.

Небо целиком состояло из темной тучи с белым вдоль горизонта краем. Косой свет бил оттуда.

Я помню предзакатный стальной отсвет грязи, мокрые заборы и потемневший шифер крыш. Ни одной фигуры людей или проезжающей машины нет в этом воспоминании. Это не обман памяти, их точно не было. Я даже помню звуки той тишины: вздыхала вокруг, сочилась, шелестела, всасывалась невидимая бессонная вода.

Я поднимаюсь по кирпичным ступенькам ресторана и открываю дверь в утробное тепло и глухое буханье изнутри какой-то музыки.

В холле (или как там еще называется этот вроде как и просторный закуток с окном): теплый запах борща, жареного лука и мяса. Лоснится, как будто вытертая плечами, синяя масляная краска стен. Медная чеканка на стене: юноша и девушка, протягивающие руки к солнцу, всходящему над рекой. В загородочке, под пустой практически вешалкой, на стуле спала женщина в темно-синем халате. И половину холла занимала огромная, пузатая, светло-коричневая, с отполированными дощечками пивная бочка (пиво из нее, думаю, выпили лет пять-шесть назад). На ней, как на естественной возвышенности, горшок с цветком.

Прислонившись спиной к бочке, как-то очень прямо, запрокинув голову, стоял в холле мужик лет тридцати-тридцати пяти. В позе его было нечто, исключающее возможность рассматривать его. По первому впечатлению – мужик выскочил из зала остыть после какого-то тяжелого напряженного разговора. Осторожно, чтоб не разбудить гардеробщицу, пристраивая на вешалку свой плащ, я еще раз глянул в его сторону: да нет, никакой встрепанности, это, скорее, такая степень сосредоточенности на своем. Медленным, почти вкрадчивыми движением, чтобы не спугнуть мысль, не замутить состояние, подносит он сигарету к губам, затягивается, выпускает дым. Губы кривятся. Глаза сощурены. Прямые волосы зачесаны назад. Жестким, явно не здешним солнцем и ветром прорисованы ранние морщины на некрасивом, скуластом, но значительном сейчас лице. Остановившимся взглядом смотрит он на синеющее уже окно.

Аккуратно обойдя его, как бы вообще не замечая, я ныряю в низкую арку, за которой неожиданно маленький зал ресторана.

Опять же масляной, но уже темно-малиновой краской крашенные стены, люстра-каскад, потемневшая, порыжевшая репродукция картины Васильева «Оттепель» в тяжелой раме. Стойка-прилавок, полка с бутылками и висячими елочными игрушками. На стойке стоит магнитофон – и оттуда создающая уют и праздник музыка: «Червону руту не шукай вечерами». Грузная деваха-официантка грудью налегла на стойку, слушает...

И два окна в зале – два полуоткрытых глаза на темнеющий снаружи мир.

Я устроился на столиком у стойки, поближе к музыке, я отогреваюсь в счастливо томящихся сейчас голосах.

Пять или шесть столиков. Кроме моего заняты два. За одним, в углу у окна, хлебают ложками из тарелок тетка с плотной спиной и мелкими завитками волос на голове и пухленький (он лицом ко мне), седенький, в опрятном пиджачке мужичок, тип колхозного счетовода-бухгалтера из советского кино.

А центре «залы» главные действующие лица сегодняшнего вечера – двое молодых мужчин. Третий обозначен отодвинутым в сторону стулом с накинутым на его спинку темно-коричневым пиджаком, и понятно, что это тот, от полноты чувств вышедший перекурить в холл. Сидят, истомно отвалившись на спинки стульев перед заставленным столом, разомлевшие от музыки и выпитого. Лица красные. Покачивают головами под музыку.

Медленно сползшая из-за прилавка деваха подходит: «Шницеля-плов-борщ. Водка-шампанское. Пива нет».

«Как же быть, как быть? Запретить себе тебя любить?» – запричитали-заныли певцы из группы «Веселые ребята», и видно, что для парней за столиком песенка со значением, чутко выпрямились, вслушиваются, торопливо разлили, чокнулись, выпили, прочувственно потряхнули головами.

Худощавые, длиннорукие, обветренные, они сейчас невыразимо элегантны – их будний день в ватниках и сапогах на раскисшем поле или в гулкой, с запахами окалины мастерской тонул в вечерней мгле за окнами, они уже часа два как в ресторане, на них белые рубашки с ослабленными и приспущенными узлами галстуков, отглаженные темные брюки, непривычная, праздничная чистота и свежесть, которые они чувствуют каждую секунду.

И вот только здесь, заев стопку местной, резкой и отвратительной на вкус, водки салатиком и сырым крошащимся хлебом, закулив, согретый лаской музыки и начинающегося изнутри тепла, я отпускаю на свободу заглоченный мною на ходу взгляд, которым тот парень смотрел в окно, – вот так же вечерами, из лязгающего тамбура вагона, проносимый где-нибудь через Воронежскую, Белгородскую или Челябинскую область, смотрел я в летящую за окном бессонную ночь, и в разряженной от жизни темноте вдруг возникали огни. Я успевал прочесть силуэт нескольких домиков, разнесенных невидимыми заборами и огородами, желтые и синеватые прямоугольнички окон, свидетельствующие о наличии там своей жизни. Необязательность, обочинность этой жизни обозначалась скоростью состава, небрежно смахивающего огоньки окон назад, в вязкое небытие темноты. Они гасли, как будто закрывались смотревшие на тебя оттуда глаза. И снова черно и глухо за окном, дребезжит у моих ног совочек в мятном ведерке для окурков. И только к концу сигареты что-то снова уколется глаз сквозь окно, и, приблизив лицо к стеклу, закрывшись ладонями от света лампы в тамбуре, я снова провалюсь в нескончаемую черноту, повисит пару секунд столб с фонарем и латкой блестящего асфальта на закрытом переезде, а потом проплывет под насыпью светящийся изнутри домик, и можно будет различить кисею белой занавеси, и точку лампы в окне домика, и слабый отсвет ее в соседней комнате через полуоткрытую там внутри дверь; и в этом слабом свечении окон – чья-то жизнь: утренние вставания, дети, запах жареной картошки, свой уют и свой разор, свое время. И жизнь эта исчезнет через несколько секунд, оставшись не существующей для меня. Так же как и не существую для нее я, проносимый мимо тусклой цепочкой огней ночного поезда, в мороке поднятого насыпью и колесами в воздух, ничем и ни к чему не прикрепленного купейно-тамбурного бытия. И только присутствие моего взгляда, моего чувства – мимолетное, зыбкое, но и – неимоверно прочное, почти вечное, несокрушимое – уничтожает тьму и беспомыслие. И мое присутствие в этом мгновении настолько прочно, что уже даже память об этом не помешает, потому как

вряд ли когда я вспомню, когда, на каком пути видел те окна, – тот я (точнее, не я – мы) остался в том мгновении, я всегда – там...

Сколько из нас, полуоглохшие от грохота и скорости, смотрели вот так из прокуренных тамбуров на слабые огоньки крепко держащейся за землю жизни. Смотрели и не понимали, нам казалось, что мы – мимо, мимо. А вспышки тех мгновений проваливались в нас как редкие, болезненно-счастливые мгновения, когда мы вдруг ощущали себя смотрящими на жизнь извне, оставаясь внутри... Сколько раз я читал вот такие описания проносящегося за окном поезда домика и чувствовал мучившую автора неспособность выразить свою замороженность тем мгновением, когда мы вдруг вынырнули наружу (откуда мне знать, куда?!) плотнуть в полную грудь...

Вот взгляд, которым – издали, зябко жалуясь и зябко радуясь своей укорененности и своей отделенности от, – смотрел тот парень из ресторанного холла-раздевалки на огоньки пустынного поселка, уже засветло погруженного в ночную немоту и глухоту.

Я записываю все это, сидя на балконе отеля в курортном Мармарисе на берегу Средиземного моря, под стрекот кузнечиков, с ярко-бирюзовым свечением успокоившейся воды бассейна снизу, записываю и ежусь от неловкости за пафосную вздрюченность интонаций. А что делать? Я действительно в другой стране, надо мной чужое небо, чужие звезды. И естественно, что я смотрю на себя и свой дом извне.

Я могу только позавидовать спокойствию Готье, державшего в своих «Путешествиях на Восток» интонацию пишущего из другого мира, – имел право. За несколько суток плавания из Франции он пережил, пусть и в облегченном варианте, но – путь Одиссея. А что делать нам, для которых Турция не дальше, чем Калуга, – какая разница, три часа в новенькой экспресс-электричке или три часа в таком же почти кресле, но с рокотом авиадвигателя? Все остальное почти неразлично: шелест предложенной стюардессой московской газеты, горячий кофе в пластмассовом стаканчике на откидном столике, радиоголос, сквозь гул моторов произносящий что-то вроде: «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Мармарис». И при этом я действительно в Турции – другое небо, звезды, речь, воздух. Здесь даже напрягаться не надо, чтобы увидеть себя и свой дом. И, оказывается, вот что это такое для меня, вернее, вот кто: тот парень, стоящий в предбаннике ресторана в крохотном вологодском городке на голом скате земли, промоченном последними октябрьскими дождями. Сколько лет прошло, а для меня он так и стоит там, храня тревожное и болезненно-счастливое чувство бодрствования в сонном расподобляющем мороке сумерек за окном.

Эти трое парней пришли в ресторан гулять. Мы, я и тетка с мужичком у окна – не в счет. Мы забежали сюда поужинать, в столовку забежали, в пельменную, а не в ресторан. А эти двое празднуют возвращение (или гостевание) своего друга. Что там – стройка в Сибири? Средняя Азия? Или колония строгого режима в Казахстане? Какая разница? Вот он уже возвращается в зал – длинный, несуразный, элегантный, чуть приволакивающий ноги в «ресторанной походочке». Но это чуть-чуть, это у него непроизвольно. Он, конечно, ощущает свою залетность здесь, свою прожаренность другой жизнью, но держится с достоинством. Да и вся компания, надо сказать, сдержанна почти по-аристократически – никакой демонстрации себя, никакого зазывания в свою радость.

Садится, заботливо поддернув брюки на коленях, разливает. Чокаются. Упершись рукой в плечо товарища и приблизив рот к его уху – музыка донимает, – он что-то говорит, третий перегнулся через стол, слушает. И я смотрю уже отсюда, из Турции, с ночного балкона на еще крепкий, молодой, без седины еще блеск их волос. Им уже давно не по двадцать, им – за тридцать. Иначе не втроем и не сугубо мужской компанией сидели бы они. Но – минуло. Всего трое осталось их от давнего клокотания сверстников, еще не разобранных городом, армией, тюрьмами, ранними нелепыми смертями – на мотоцикле, пьяным в реке, в случайной драке на вокзале далекого Адлера. И сидят они солидно, в ресторане, тщательно

побрившиеся уже после работы, в отглаженной одежде (двоим жена гладила, третьему, скорей всего, мать или сестра) – в возрасте первой мужской горечи, но и первого наплыва зрелости, битые, прокаленные, но пока не надломленные, не спекшиеся.

За окном ресторана давно темно, и странно – ни одного огонька, кроме фонаря на площади, ни одного светящегося окошка – заборы, что ли, закрывают? Или окна ресторанные не туда повернуты?

«Теперь “Аббу” давай», – подают голос из-за стола и разгоняются, освобождаясь от немоты, расправляя свою молодую тугую радость и томление, переплетаются, взмывают два женских и два мужских голоса. Это уже для меня ребята поставили, мы вместе впитываем счастливый кровоток молодости и силы. Господи, до чего ж мне хорошо в этой просторной комнате с потемневшей «Оттепелью» Васильева на стене и этими тремя мужиками за соседним столиком! Я уже все доел и допил, расплатился с официанткой, докуриваю последнюю сигарету, уже пора выходить, минут через сорок я должен быть в полутора километрах от поселка на шоссе, по которому из Череповца будет проходить междугородний автобус на Вологду. Но сил нет оторваться от музыки...

Все. Я вышел.

За час, проведенный мною в ресторане, мир стал черным, просохшим и как будто подмерзшим – пар изо рта. Горизонт выгнулся гирляндой прожекторных огней моста. А вокруг меня тьма. Неподвижный безгласный фонарь на площади не дотягивает свой свет до заборов и крыш.

Поселок закончился через пять минут ходьбы. Я иду по асфальту между голых полей, но у меня это только знание про голые поля, видеть их я не могу. Я вообще ничего не вижу, только далеко впереди прочеркивает изредка огонек машины на шоссе. Вечер только начался, но глубокая ночь стоит вокруг меня, именно стоит, свое движение я чувствую только мускулами ног. Что-то случилось со временем – идти недалеко, и запаса чуть ли не час, но я весь в тусклой озабоченности, как бы не опоздать. Я оглядываюсь на городок, но он мне не опора – слабое свечение позади. Асфальт под ногами все длится и длится, и когда я уже начал терять надежду, он как будто начал вспучиваться – я поднимаюсь наверх и вступаю на шоссе. И тут же вижу слабый огонек по ту его сторону.

Крылечко автостанции (это даже не домик, а скорее будка) я нахожу почти на ощупь, нащупываю ручку двери и тяну на себя. Теплый, чуть спертый воздух крохотной комнатки с двумя лавочками и окошечком кассира. Лампочка на шнуре свисает с потолка. На скамейках все та же тетка с седеньким мужичком из ресторана и еще женщина с мальчиком. Глухие беленые стены, ни одного окна, а что же светило наружу? Летаргическая неподвижность лиц и поз.

Я сажусь на скамью, я упираюсь взглядом в стену, я согреваюсь, расслабляюсь и как в дрему погружаюсь в ступор общего ожидания, сделав последнее усилие для вопроса:

– Автобуса на Вологду еще не было?

– Не было, – разлепив запекшиеся губы, выныривают они на поверхность, и снова тишина смыкается над нами.

Нет, там еще была круглая, высокая, обитая черным крашеным железом печка, я помню, что кто-то открывал чугунную дверцу и аккуратно совочком высыпал несколько порций угля, и я, зацепившись взглядом за темно-красную живую щель, привыкаю к мысли, что никакого автобуса и не будет вовсе – откуда он, интересно, может здесь взяться, – я проживаю заново, как физическое тепло от печки, застрявшую во мне ресторанный музыку, узловатую коричневую руку приезжего – это когда он положил руку на плечо другу – и рука эта, разбитая работой, со вздувшимися жилами и черным, в кровоподтеке ногтем, была неотделима от яростно-счастливых голосов «Аббы». У меня абсолютно реальное ощущение их близости – я ведь на северо-востоке, какая разница – тысяча, или сто, или пятнадцать километ-

ров до их Швеции, они вполне могли быть рядом, за вот тем мостом, на который я смотрел с бугра площади, сейчас в этом несуществующем или, наоборот, как раз и существующем пространстве все мы здесь, и все мы близко.

Я думаю, что просидел на той автостанции не больше получаса, не помню даже, чтоб я выходил покурить, но в воспоминании оно было бесконечным, как глухая ночь за стенами того домика... Но – хлопнула дверь, пронесся холодный воздух, и вошла женщина в черной куртке, и лист бумаги, пронесенный ею, нырнул в окошечко, сверкнувшее вдруг изнутри светом, и вздох, как будто наш общий, и мы встаем, щупаем в темноте ступеньки, почти морозом клубится воздух в горящих фарах гигантского междугороднего автобуса – как? когда? откуда?!! – я, медленно просыпаясь, разминаю сигарету в шаге от сбившихся в крохотную толпу четырех попутчиков. Раздвинув их, снова проходит женщина в черной куртке, двери перед ней раскрываются сами, и вот уже я замыкающим поднимаюсь в автобус, выбираю место в полупустом салоне. Автобус выворачивает с обочины на середину шоссе, разгоняется и летит ноздревая асфальтовая земля вниз, и, как прожилки висящего кристаллического пара, ломкие голые веточки вспыхивают в свете у моего окна. Шофер выключает свет в салоне. И с ощущением счастья – возвращаюсь! – и странным ощущением какой-то потери я пристраиваюсь боком в кресле и закрываю глаза. Через два часа будет Вологда.

Записывая все это, я вдруг вспомнил сейчас жажду, которая мучила меня в домике автостанции и которую я осознал тогда, только садясь в автобус, нёбом и языком я вспомнил полуостывший чай из забытого на целый день в портфеле термоса, и это давнее ощущение было настолько острым, что пришлось идти в номер за водой с выдавленным туда ядреным, практически несъедобным турецким грейпфрутом.

Ну вот, полтетради исписал и только сейчас сообразил, что на балкон с тетрадью и сигареткой я выходил, чтобы записать про немку в коридоре, а куда занесло...

А никуда. Никуда не занесло. Именно про то и записываю.

И про ту же немку, которую часа два назад увидел в коридоре. Она сидела на полу, прислонившись к стене у двери своего номера, поджав колени до подбородка, с высоким полупорожненным стаканом пива, на ковре на излете ее, лежащей рядом, руки. «Вот кому кайф!» – позавидовал я, открывая свой номер, девушка (лет тридцать девушке, не меньше) медленно повернула голову и глянула, а я уже входил в свою комнату, вставлял пластинку от ключа в щель, чтобы включить электричество в номере, и досматривал эту картинку: что-то в позе женщины было не то – поза, подразумевающая расслабленность и негу, стянула ее тело, как судорога. И как тяжело, с какой истомной безнадежностью поворачивалась ее голова в мою сторону. Я выскочил назад в коридор: «Проблем? Что? Вот хэз хэпнд», и женщина, два раза глубоко мотнула все еще повернутой в мою сторону головой. В позе женщины, во взгляде – «С меня хватит! Больше не могу!» – отчаяние. И она показывает рукой на свою дверь с торчащим ключом. Я дергаю дверь, заперто. Я поворачиваю ключ в замке, ключ проворачивается. Немка смотрит безразличным взглядом женщины, у которой уже не осталось сил перебарывать эту проклятую жизнь, – да нет, разумеется, я понимаю, пьяная истерика, на самом деле никаких проблем: десять секунд в лифте, десять шагов от лифта к стойке ресепшен, одна фраза – и все: и прибегут, и откроют, и десять раз извинятся. Но сейчас для нее это уже ничего не значит, проблема действительно неразрешима, неработающий замок – это так, точка, резюме. Я отжимаю дверь на себя и снова поворачиваю ключ, и еще, и еще. И наконец, поймав полустершимся бугорком нужную бороздку и зацепившись за еще работающий выступ железа, я проворачиваю механизм и отодвигаю язычок замка. Дверь освобождается. Я протягиваю руку и беру влажные горячие пальцы женщины, она медленно встает, выпрямляется, поднимает голову улыбнуться и поблагодарить, но губы сводит судорога, глаз заплывает слезой, неожиданно тяжелая ее голова утыкается мне в грудь, и я осторожно глажу ее вздрагивающее плечо: «Ничего, ничего. Уже кончилось. Бывает и хуже. Ты ведь и сама

знаешь, что бывает, да? Ничего, родная, прорвемся». Она что-то отвечает, я слышу хриплое клокотание и чувствую кожей ее шевелящиеся губы. Она постепенно затихает.

Мимо идут соседи по этажу, пронося устремленными в никуда испуганные удивленные взгляды – хорошенькую сценку мы представляем: грузный, седой русский с рыдающий на его плече молодой немкой в коридоре перед распахнутой в ее черную комнату дверью.

Плюс я сам, со стороны оценивающий мелодраматический пафос этого объятия и одновременно пытающийся вспомнить, накрашены у нее были глаза или нет, потому как на мне новенькая, сегодня только купленная бледно-желтая рубашка и, похоже, женщина сейчас вытирает об нее краску с ресниц.

Немка прерывисто вздыхает и отстраняется – размочаленные моей мокрой рубахой губы, волосы, прилипшие ко лбу и носу, недоверчивый взгляд исподлобья. «Гут найт, – я провожу пальцами по щеке. – Бай, солнышко. Спокойной тебе ночи». Она как будто против силы улыбается, сглатывает и, сделав шаг назад в открытую дверь, поднимает ладошку: «Данкешен, данкешен».

Я подбираю с ковровой дорожки ее стакан с недопитым пивом и отношу к лестнице, на ступеньках которой мы оставляем взятую из бара посуду.

Канареечный Дали

(Записи, сделанные на Плаца Реаль)

9.10

Плаца Реаль. Placa Reial. Королевская площадь в Барселоне. «Туда не ходите, – предупреждал экскурсовод. – Место криминальное: бомжи и артистическая богема». Судя по языкам вокруг, это же говорят немцам, голландцам, полякам и итальянцам. Кафе под аркадами площади заполнены более чем наполовину.

Столик и пиво с видом на площадь.

Идеальное место для отдыха после бесконечного плетения узких средневековых улиц. Готические кварталы Барселоны начинаются отсюда, с площади; ныряешь в арочку, и ты – в прошлых веках. А проход с другой стороны площади выводит на барселонский Монмартр (он же Невский проспект и Дерибасовская одновременно) – на бульвар Лас-Рамблас.

...Не площадь, скорее – внутренний дворик южных (греческих, итальянских) вилл и дворцов с пальмой и фонтаном посередине, только очень просторный «дворик»: вытянутый прямоугольник с пятиэтажными стенами. В центре фонтан «Три грации». Рошица долговязых пальм. По всему периметру площади аркады с упрятыми в них кафе.

Три черные грации в фонтане. На вид очень добропорядочные. Напоминают «антикварный» ширпотреб арбатских коммисионок. Грации явно не ведают о сомнительной репутации места, которое украшают.

Октябрь. Солнце. Жарко. Но я в тени. И пиво холодное. Кстати, пиво хорошее.

Ну и где она, богема? Художники, музыканты, поэты?

Вижу только каких-то парней бомжеватого (но в меру) вида, по двое-трое-четверо расположившихся по краям самой площади. В отличие от всех нас, туристов, сидящих за столиками кафе, они полулежат прямо на каменном полу, обложенные рюкзаками, пластиковыми сумками и какими-то бесформенными торбами. Подчеркнуто вольные позы, как бы полностью игнорирующие наличие публики. Они – на сценической площадке; мы – на зрительских местах.

Похоже на то, что эти компании демонстрируют свою маргинальность. И только.

За соседним столиком семейная пара с девочкой. Девочке лет шесть. Немцы. Чуть напряжены и разочарованы. Внимательно оглядывают площадь. Девочку от себя не отпускают.

Глядя на них, таких чистеньких, аккуратненьких, кожей ощущаешь обветшалость площади и кафе.

Дешевые металлические столики.

На столиках нет пепельниц – пепел стряхивают под ноги на каменный пол.

Подванивает мусорными баками и сточными водами.

Прорва мух.

От королевского в этой площади – аристократический гонор архитектуры, а также фонари великого Гауди на столбах.

Девочка-жонглерка в черно-красном цирковом трико перед дальними столиками. Минут пять жонглирует, потом обходит зрителей-туристов с шапочкой. Смотрится цитатой из Пикассо.

Когда жонглерка от дальних столиков подошла к моему, из девочки она превратилась в – хорошо если тридцатилетнюю – женщину. Но стройна и худощава по-девчоночьи.

Точна в движениях, но чересчур сосредоточенна. Раскованность и легкость пытается имитировать интонацией, с которой выдыхает свое «оп! оп!». Голосу и дыханию не хватает игры. Тяжкая работа. Артистический пот.

Все. Идет с шапочкой.

...Я бросил в шапочку 100 песет.

«Грасиас, сеньор!» – звук «ц» чистый, каталонка, значит. Испанцы, как мне объясняли, «ц» произносят как английский «th».

При ближайшем рассмотрении выясняется, что испанцев в Испании вообще нет – есть каталонцы, баски, андалузцы и так далее.

Сейчас мне принесут еще пива. Не знаю, что понял мальчонка-официант. Я попросил «биг бир» и употребил слово из путеводителя: «харра», что должно означать большую кружку пива. Официант скорбно покивал головой. Сказал: «О'кей». Посмотрим, что он понял.

Пальмы на площади похожи на дылду-мулатку, ночи напролет танцующую на подиуме ночного бара-дискотеки «Two much» у нас в Салоу: та же музыка в колыхании обнаженных ног, живота, рук и всклокоченной, на репейник похожей, коротко стриженной головы. И с той же растрепанной, врожденной грацией на длинных своих ногах застыли эти пальмы в случайных как бы наклонах и изгибах.

От той мулатки я глаз оторвать не мог.

Ну вот, никакая тебе не «харра». Официант принес мне еще один крохотный бокал пива. Емкость граммов на 200–250.

Мазохизм – пить пиво в таких дозах.

Языки надо было учить!

Японочка фотографируется на фоне площади. Господи, как хороша! Причем без индивидуальной почти окраски – просто как знак своей расы, очищенной молодостью кожи и волос, безупречной линией подбородка, скул, разреза глаз. Даже испанки, проходящие мимо, повернули головы. А вообще, испанские девушки туристов не видят в упор. Идут сквозь. Имеют право, согласен. Особенно если посмотреть на раскормленных немцев и голландцев, в необъятных шортах, с набрюшными кошельками-ридикюлями. Самые некрасивые люди в Барселоне (и в Салоу) – немцы и голландцы (похоже, что и для нас, русских, – это ближайшее будущее). А испанки – прекрасны.

Абсолютно непохожи испанцы на тот картонный, точнее, жестяной образ испанца, которым мы пользуемся в России: худой, черноволосый, с огненными глазами, исчерпывающийся плакатно-пафосными благородством и оголтелым бесстрашием («но пасаран», бой быков, фламенко, марш тореадоров из оперы Бизе «Кармен» и запах дешевого одеколona «Кармен» из моего детства с танцующей испанкой на этикетке, в руке – обязательный веер), а вот они, испанцы, вокруг меня, в Барселоне, в Таррагоне, – черноволосые, и русые, и рыжеватые, и сутулые, и плотные, и худые, поджарые; вполне интеллигентная предупредительность, в которой ни тени искренности, напротив – достоинство; стиль общения между собой (в барах, в автобусе) включает открытое дружелюбие и мягкую иронию. Таким мне обычно представлялся среднеевропейский тип (интеллигентные французы, австрийцы, итальянцы).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.